

## Лапсердак из лоскутов Фрагмент новой книги

### Лоскут из широкого атласного галстука,

какие носили стилиаги в пятидесятые годы прошлого века,  
к примеру, как раз такой,  
потертый почти до дыр в том месте,  
где ловким привычным движением вывязывался  
вершиной вниз маленький треугольник узла,  
плотно подпирającego кадык:  
по ярко-желтому фону разбросаны фиолетовые павлиньи хвосты  
с белыми завораживающими овалами,  
расцвеченные внутри всеми цветами радуги -  
смерть мухам, как говорится, ослепительно до безобразия;  
но стилиаги фланировали по улицам  
в этих убийственных галстуках и брюках-дудочках,  
покачивали напомаженными коками,  
поводили плечами взад-вперед,  
лениво, как бы нехотя, пошаркивали ногами,  
словно это хождение по земле,  
привычное для мельгешащих вокруг людишек,  
для них было лишь подступом к чему-то более возвышенному,  
будто не по мощным, истертым множеством подошв и каблуков  
плитам тротуара приморского города-героя ступали,  
а по взлетной полосе, с которой без всякого летательного аппарата  
можно воспарить в такую высь, откуда обратного пути быть не может,  
только выше, выше, пока сердце не разорвется от восторга,  
и — никакого страха, сожаления,  
никаких воспоминаний о прошлом...  
И — никакого прошлого...

Додик Мутерперель, в молодости стилиага, первый модник своего двора, улицы и даже города, пижон и кутила, единственный сын строгой, скупой на нежности Хаси, племянницы известного в городе зубного техника Фишеля Трахмана по мужской еврейской линии его армянской жены На-

ны, души не чаявшей в Додике, сильнее, чем мать родная, отчего, наверное, его и дразнили в детстве обидным прозвищем "смесь армяшки с гуталином", — Додик чуть не плакал от обиды: ну почему — "армяшки"? почему — с "гуталином"? почему не как есть на самом деле — просто жидом? Позже стали обзывать "гибрид", "гибра", потом сокращенно "рид", что походило на нормальное американское имя, а он уже к тому времени безудержно и безоглядно тяготел ко всему иностранному, заморскому, недостижимому..

Тогда казалось — недостижимому.

Это сейчас он живет в Бруклине, старый еврей с седой вздыбленной копной волос, из которых даже лучший в мире парикмахер не сумел бы создать нечто благопристойное, потому что волосы, пережившие вместе с ним глубочайший стресс от перемены места жительства, так и не оправились — встали дыбом и торчат во все стороны, как у безумного короля Лира из трагической пьесы Шекспира.

Когда-то давным-давно он водил жену свою Любаню, тогда еще невесту, в Одесский русский драмтеатр, она вышла после спектакля зареванная, икающая, с опухшим лицом и заплывшими глазами. Он бережно вел ее за руку, как незрячую, и впервые ему захотелось избавиться от роскошного набриолиненного кока, который носил с гордостью и королевским достоинством. Вместе с коком рост его составлял один метр девяносто один сантиметр, и когда он появлялся на Приморском бульваре, с противоположного конца доносилось приветственное: хеллоу, Рид! Тогда он был заметной фигурой не только в смысле роста и атлетической стати, он был стилигой № 1 в славном городе Одесса. Его знали все.

Сейчас он один из многих, кто, едва передвигаясь на своих двоих или с палками и костылями, а то и в уличных креслах-каталках, снует бесцельно изо дня в день по Брайтон-Бич взад-вперед, и из последних сил делают вид, что это и есть настоящее еврейское счастье — мазаль или нахес. Выбирай, что больше нравится. В свободной стране — у каждого полная свобода выбора. Вот они и выбрали — еврейское счастье. Хоть на иврите, хоть на идише — все едино, никакой разницы.

Чтоб он так жил. Чтобы вы все так жили.

Господи, Боже ж мой! Можно подумать, что в Одессе нет бича, побережья то есть, на нашем родном русском языке — да в миллион раз лучше! Хоть Аркадия, хоть Лузановка, хоть Ланжерон. А шестнадцатая станция Большого Фонтана — ой, мама дорогая, это же лучшее место в мире: какой

песок, какая волна, а горизонт! Где вы еще видели такую линию горизонта, где, я вас спрашиваю?

Небо и море незаметно сливаются, и не понять — или это верх, или низ, плывешь ты, а может, паришь внутри шара, наполненного то ли водой, то ли воздухом.

Додик помнит, как впервые пережил ни с чем несравнимый восторг ужаса — он тонул в море, наглотался соленой воды, и волна несла его неудержимо — подкинула в небо, а оттуда низвергла в темные глубины, в толщу пучины морской. Ему было девять лет, он не умел плавать, но смело прыгал в высокую накатывающую на берег волну, как все. Страшно, едва выбрался, весь посинел и дрожал от макушки до пяток, но снова ждал — вот-вот сейчас накатит, обнимет его и унесет. Ожидание граничило с экстазом, ничего не осознавая, он рвался туда, не знает куда, как в сказке...

И вот дорвался.

Волна забросила его в Америку, на побережье Атлантического океана, на Брайтон-Бич. Не морская волна, другая. Сам не знает, как оказался в этом живом водовороте, его несло и несло — ни остановиться, ни оглянуться, ни одуматься, словно дурное зелье какое-то выпил, и ум на время помрачился.

И Любана, жена горячо любимая, верная, рассудительная и осмрительная, не в пример ему, легковесному пижону и заядлому гуляке, все годы их безмятежного супружества мягко окорачивающая его мятежную душу, его бунтарство и непокорность, твердила как заклинание: "надо ехать, ехать надо". Будто кто заговорил ее, гойку, в церкви крещенную в малолетстве.

"Надо ехать!" — за него решила Любана этот мучительный вопрос извечных скитальцев-евреев. Испокон веков — мучительный.

Ехали родственники, дальние, ближние, ехали соседи, знакомцы ранних детских лет, с кем бок о бок пережил все лихолетья, все беды уходящего двадцатого века, и те, с кем свела жизнь в старости. Ехали кто от нищеты и неустроенности, кто за длинным рублем, кто вслед за детьми и внуками, не в силах расстаться, не зная, что ждет впереди. Прощаясь, многие отводили глаза, желая скрыть слезы и затаенный страх перед неизвестным, бормотали второпях "на будущий — в Ерушалаиме", даже если ехали в Америку, Канаду или Германию, а не на Святую, Господом обетованную землю Израиля.

Почему не туда — отдельный вопрос, так и оставшийся без ответа.

Жили они с Любаней, как большинство одесситов, в нью-йоркском Бруклине, на Оушн-авеню угол Кей-авеню в шестизэтажном красном кирпичном доме в хорошей, даже прекрасной двухкомнатной квартире со всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами, вплоть до стиральной машины, СВЧ-печки и электродуховки, совмещенной с грилем.

Даже во сне не могло такое привидеться Додику в прежней жизни, где вонючий коммунальный дворовый туалет на два "посадочных места" стыдливо прятался за сараем с метлами, ведрами, граблями и всякой всячиной для уборки общественной территории. Конечно, они, как все, выгородили в кухне чуланчик для унитаза, но водопровод и канализация работали плохо, от бесконечных засоров в кухне витал неистребимый приторный запах, ставший неотъемлемой частью головокружительных ароматов Любаниной стряпни, отчего она не в шутку страдала. А он ничем не мог помочь ей, хоть прочищал унитаз и раковину ежедневно, иногда по два-три раза в день.

Было это в Одессе, на Успенской угол Канатной, во дворе, где он родился и прожил всю жизнь до отъезда минус четыре года, проведенные в Казахстане, на станции Джусалы, куда занесло их во время войны — бабу Мару, тетку Изу и ее двух дочек, Ривушку и Басену, в которых он был горячо влюблен, в обеих сразу.

Нынешний адрес чем-то схож с прежним, дом тоже стоит на пересечении двух улиц — Оушн и Кей. Схож да негож.

И сны он видел здесь совсем другие, и редко-редко, почти никогда.

Ночами Додик не спал. Все думал, думал, ворошил в памяти жизнь свою, искал в ней смысл, простой и понятный. Для чего, хотел он уяснить для себя самого, стоя уже почти на краю, для чего явился в этот мир, именно он, Давид Шмулиевич Мутерперель, переименовавший себя когда-то в Дода Самуиловича Перля, что, в общем, оказалось не слаще редьки в свете всегда остро стоявшего в СССР национального вопроса, а попросту говоря — неистребимого повсеместного антисемитизма, сверху донизу.

Впрочем, он сам тогда был скорее здесь, чем там. То есть не за забором, где все евреи, не в гетто, пусть и условном, где у всех одна судьба, а возле забора, с другой стороны, откуда через широкую щель можно было отслеживать все происходящее, быть в курсе всех подробностей их жизни, чтобы не пропустить момент, когда еще можно будет протиснуться туда, где сбившись в кучку, спина к спине они, гордо воздев головы к небесам, бу-

дут петь свои молитвы, пятась все ближе и ближе к краю обрыва. Тогда он встанет рядом, иного пути нет.

Но он отчаянно не хотел этого.

Он не любил евреев, как ни чудовищно это звучит. Евреев вообще, хоть ничего плохого они ему не сделали, правда, и хорошего тоже ничего, не каждый в отдельности, а все вместе. Но он не считался с ними, он просто их не любил.

К своим, конечно, это не имело отношения. Свои, родные, если и не были очень близки ему, то, во всяком случае, понятны, со всеми их пороками, причудами и завихрениями. Он слыл плохим родственником, его все осуждали всегда и за все, что бы он ни делал. Особо не распространялись по его поводу, отделяваясь одной на все случаи фразой, не пропитанной никаким чувством и не имеющей никакого конкретного содержания: "Ой, что говорить за Дода, за него ничего не скажешь, чтоб он был здоров". И при этом все кивали головами, кто сверху вниз, как бы подтверждая сказанное, кто из стороны в сторону — не отрицая, а скорей выражая свое привычное уже осуждение в его адрес, кто с неким недоумением пожимал плечами — ну куда, мол, тут денешься, что есть, то есть.

Но все же — "чтоб был здоров", потому что не чужой — свой.

Вот и он к своим относился по-свойски: кого терпеть не мог, кого жалел, кого в упор не видел, не узнавал при встрече, не делал вид, что не узнает, а истинно не узнавал. А кое-кого любил и даже обожал. Их было немного — бабка Мара, тетка Иза и ее две дочки, Ривушка и Басена.

Бабку Мару, мать его матери Хаси, маленькую старуху, морщинистую, всю скукоженную, перекошенную на правый бок, как кривой сучок высохшего дерева, никто не любил. Больше того — избегали общения с ней, побаивались. Предпочитали держаться подальше. Хотя Додик не помнит, чтобы она чинила какие-то пакости, строила козни или просто ругала кого-то. Она больше молчала, — и накрывая скатертью стол к субботней трапезе, и зажигая свечи, наводя порядок в своем убогом жилище, сверкающем стерильной чистотой, стирая, перебирая стручки зеленого гороха, вынимая кости из рыбы или снимая воздушную розовую пенку с варенья.

Он не сводил глаз с ее лица, пытаясь понять, о чем она думает, какую тайну скрывают ее всегда приспущенные веки и плотно сомкнутые губы. Он ходил за ней хвостиком, и она не гнала его, изредка клала ему на затылок свою невесомую, похожую на осенний лист ладошку и едва-едва про-

бегала пальцами по волосам, легким касанием, будто ветерок дунул, — было приятно и в то же время отчего-то страшно. Додик замирал, по спине ползли мурашки, а в низу живота сладко холодело.

Однажды он не выдержал и спросил:

— Что это? Почему так, Бамара?

Она молчала по обыкновению. Он заглянул ей в лицо и увидел ее пронзительно голубые глаза, из-под приспущенных век устремленные в какую-то недостижимую даль. Он тоже стал смотреть в ту сторону.

Но взгляд все время спотыкался то о мусорные баки, вокруг которых, отвратительно попискивая, суетились длиннохвостые крысы, то об увитые виноградом беседки двух пребывающих в пожизненной вражде соседок-старушек Арны и Мили, то о развешенное для просушки белье, стандартный набор — разноцветные линялые трико и кальсоны, наволочки, простыни и полотенца, то о выставленную у чьей-то двери крышку гроба, вкривь и вкось обитую слегка посеревшей от пыли розовой тканью, будто давно стоит, ожидая случая, то об угол дома с отколотой штукатуркой и добротнo выбитыми срамными словечками, то о клочковатую тучу, набекрень залихватски нахлобученную на крышу.

Дальше дома и тучи он не видел ничего. И снова спросил:

— Что там, Бамара? Что?

Она почти не говорила по-русски, только по-еврейски, и с ним тоже. При этом он хорошо помнит, они понимали друг друга без слов, так было всегда. Но в тот раз — особый случай: она щекотно прижалась сухими шершавыми губами к его уху и тихо быстро заговорила. Долго говорила, взволнованно, он никогда не видел ее такой — даже румянец пятнами выступил на обычно бледных щеках и на лбу красные пятна выползли из-под темного платка, всегда прикрывавшего голову.

Странно, но он все понял, хотя ее слова показались ему полным бредом.

— Ты Давид и он Давид, — шептала она, подняв кверху указательный палец. — Он — царь и ты будешь царем, эйнекл\*. Будешь! — она погрозила пальцем то ли ему, то ли кому-то на небесах. — Ты сейчас этого не понимаешь, и долго будешь сопротивляться, но ты станешь царем, мой мальчик, и музыке научишься, и петь станешь свою музыку, славя имя Его. Здесь это будет или там — не знаю, отсюда не видно. Пелена все застит, поближе подойду, должно проясниться.

---

\* Внук (идиш).

Она опустила руки, они безвольно повисли вдоль туловища, тяжело втянула в себя воздух и добавила:

— А коли нет, уже оттуда подскажу, пока не знаю, как, но ты поймешь, эйнекл, обязательно поймешь.

Бамара умерла у него на руках. Он нес ее невесомое тельце, которое, может, еще не покинул дух, и чувствовал каким-то необъяснимым чувством, что она уже не жива, но еще и не мертва. Ему захотелось что-то сказать ей на прощание, но на каком языке? Он посмотрел на нее — веки приспущены, губы плотно сжаты, ладонки перекрещены на груди, как два пожелтевших осенних листочка, чуть вздрагивают, отзываясь на его торопливый шаг. Ничего вроде не изменилось, только он несет ее на руках к машине "скорой помощи", понимая, что спешить незачем. И Бамара никуда не спешила, спокойно и удобно уместилась, как дите малое, прижалась к нему, теплые волны пробегали по его телу. Все окружающее исчезло, они остались одни, и тогда он напел ей что-то на ухо, прикоснувшись к нему губами.

Санитары уложили Бамару на носилки, накрыв сверху простыней, Любаня села в машину, и та, медленно виляя по разбитой дороге, растаяла в предсумеречном тумане. Додик стоял ошеломленный — ни слов, ни мелодии, которую напел только что Бамаре, он вспомнить не мог.

Она унесла их с собой.

Плакали над могилой Бамары только он, Любаня, Иза и Ривушка. Басена давно уж лежала в соседней могиле, а то бы она плакала горше всех. Остальные родственники скучились в сторонке, переступали с ноги на ногу, ожидая, когда реб Изя Крамер дочитает молитву, заученно, монотонно, лишь изредка взмывая голосом в поднебесье, при этом он откидывал назад голову и устремлял взор вслед исчезающему звуку, и на лице его вспыхивала неуместная случаю радость. Он вскидывал в стороны и вверх руки, становился похожим на птицу, готовую улететь вослед и никогда больше не возвращаться сюда, на грешную землю. Ничего хорошего он здесь не видел за всю свою жизнь, от рождения — бедную полуголодную жизнь в местечке, ранний тяжелый труд подмастерьем по выделке кож, погромы, войны, социализм, фашизм, антисемитизм... Да о чем говорить — он завидовал каждому покойнику, которого провожал в царствие Божие.

А над этой старухой плачут, будто дитя хоронят. Правда, всего четве-

ро из всей мишпухи\*, да бывает, что и никто, а провожающих — толпа, как на праздничной демонстрации. А тут все в другой пропорции — провожающих восемнадцать человек, из них — десять мужчин, аккурат миньян, если бы понадобилось для правильного ритуала. Но об этом разговора не было, он сам предложил кадиш\*\* почитать, не отказались, но и участия никакого не приняли. Равнодушно проводили старуху, никто волосы и одежду на себе не рвал.

Но четверо плачут, и не притворно, не показушно, а от всего сердца, уж кого-кого, а его, Изю Крамера, не проведешь. Уходя, он несколько раз оглянулся — все поспешно разбрелись кто куда, благо поминки по правилам не положены. Над могилой застыли четыре скорбные фигуры.

Они стояли у свежей могилы Бамары — Додик, Любаня, Иза и Ривушка, ноги скользили по влажной глине, могильный холм, ничем не прибранный, ни цветами, ни венками, производил удручающее впечатление. Только Любаня прижимала к груди шесть больших темно-бордовых георгинов, которые срезала утром в палисаднике Бамары. Знает, конечно, знает, что евреи не кладут на могилу живые цветы, не принято, но положит непременно, как всегда это делает, когда все разойдется.

Каждый думал о своем.

Додик, простившись мысленно с Бамарой, не сводил глаз с фотографии Басены. Она улыбалась нежно, смущенно, а глаза сияли теплым светом, как живые, их васильковые блики отражались повсюду — на черном граните памятника, в небольших лужицах вокруг могилы, проступали прогалинами в разрывах туч.

Он помнит день смерти Басены в мельчайших подробностях.

Когда комья сырой глины застучали о крышку Басениного гроба, рядом с ним оказалась Ривушка, лицо зареванное, аж синее, а рот криво улыбается.

— Теперь, когда Басены нет, у тебя осталась только я, — прошептала, не разжимая губы. — Никуда ты от меня не денешься.

И посмотрела на него снизу вверх, искоса, сквозь тяжелые опухшие от слез веки, как-то странно, победоносно и даже радостно, показалось ему. Будто только того и ждала, чтобы Басены не стало. Его всего передернуло — и от этих слов, и от ее вида, и от чего-то еще дурного, непоправимого, хуже смерти.

---

\* Мишпуха — семья (идиш).

\*\* Поминальная молитва (иврит).



Ему сделалось не по себе, накатила тяжелая липучая дурнота, до обморока. В эту минуту Додик понял, что потерял их обеих. Навсегда. Он спрятался за спиной Бамары, чтобы не видеть разверстую могилу, в которую опустили простой грубо струганный деревянный гроб, последнее убежище Басены, заплывшее Ривушкино лицо, только что радостно улыбавшееся ему. Он глядел прямо перед собой и видел спину Бамары и верхушки тополей высоко в небе, больше ничего.

Все же он был очень мал для такого сильного потрясения, ему только исполнилось тринадцать, и хоть Бамара говорила маме Хасе про бар-мицву, та твердо сказала:

— Нет, мама, сейчас это не принято. Ничего делать не будем. Пусть растет как все дети. Он уже пионер, пусть будет как все.

— Но так нельзя, он ведь еврейский мальчик, — слабо возразила Бамара. — В нашем народе испокон века совершеннолетие мальчика отмечают как самый большой праздник в его жизни.

— Когда это было, теперь все по-другому, — стояла на своем мама Хася.

— Он уже взрослый, надо его спросить, — не унималась Бамара.

— Нет и еще раз нет. Простите, мама, и не сердитесь. И Фишель возражает. Будет так, как мы решили.

— Что твой Фишель? Ему фашисты на войне руки покалечили, а коммунисты — мозги, вот он и забыл, что он еврей, сын раввина и внук раввина, все мужчины в их роду проходили брит-милу\* и бар-мицву\*\*, все читали Тору и соблюдали шабес\*\*\*.

— Мама, я вышла замуж за Фишеля и не хочу, чтоб вы его обсуждали и порочили.

— Ох, таки радость великая, замуж за Фишеля вышла, а чему радоваться-то, он тебе в отцы годится, это раз, сына твоего в дом не пустил, это два.

— Ой, мама, что ж вы мне рану ковыряете, вы ж знаете, почему Фишель не хочет, чтоб Додик жил с нами, — у него дети в гетто погибли, все трое, и мать его, и бабушка, и сестры с племянниками, почти все родственники погибли. Ему больно видеть в своем доме живых детей. Еврейских тем более.

— Ему вообще больно видеть евреев, и мертвых, и живых.

— Да, да, после всего, что случилось, он считает, что еврей должен сидеть тише воды ниже травы, никому в глаза не лезть. И я с ним во всем со-

\* Брит-мила — обрезание, древнейший ритуал иудаизма (иврит).

\*\* Бар-мицва — обряд, знаменующий вступление еврейского мальчика в совершеннолетие, тринадцать лет (иврит).

\*\*\* Суббота (идиш).

гласна. Не надо Додикю без конца напоминать, что он еврей, не надо, мама, прошу и умоляю вас, пожалуйста. Пусть растет, как все советские дети.

Бамара ничего не ответила, только судорожно вздохнула.

Разговор этот подслушала и слово в слово передала ему Ривушка, она была старше и одна из всех детей хорошо понимала идиш, даже говорить умела.

Додик был ошеломлен, может быть, с этого момента всерьез началась его раздвоенность — он пионер, как все советские дети, он еврей, как все его родственники. Так кто же он?

Басена тогда отругала Ривушку:

— Ну, для чего ты рассказала это все Додикю? Видишь, как он переживает. Он еще маленький, чтобы самому решать такие серьезные вещи. И знать ему это не надо, вырастет — сам все поймет.

Додик видел, что Басена очень расстроилась, да и он был сам не свой.

А Ривушка, глядя на них, хохотала, всплескивая руками.

— А вот и не маленький. Тринадцатилетний — совершеннолетний, мужчина по еврейским законам. Совершенно летний, совершенно зимний...

И не могла остановиться — такой веселой показалась ей вся эта история и шутка, которую придумала. Или просто ей было весело, независимо ни от чего.

— Ой, не могу, — вскрикивала, обессиленная смехом. — Ой, не могу. Умереть и не встать. Тетя Хася замуж вышла за деда Фишеля, а он ей дядей приходится. Кровосмешение, как у праотца нашего Авраама с Сарой, ой, не могу! Этот Фишель Трахман такой старый, зачем ей свою кровь с его смешивать? Ой, не могу! Зачем, спрашивается?

— Замолчи, пожалуйста. Ну что ты такое говоришь при ребенке. Авраам и Сара были двоюродными братом и сестрой. А Фишель тете Хасе не родной дядя, она не его племянница, а его первой жены тети Наны, которая умерла совсем молодая, никакого кровосмешения, глупости несешь, а зачем — не знаю. Тетя Хася пожалела дядю Фишеля за все, что он пережил. Она добрая и мудрая.

Ее глаза потемнели от огорчения, из васильковых сделались темно-синими и суровыми, как море перед штормом.

В эти минуты Додик любил Басену.

Но смех Ривушки звенел в ушах радостно, заливчато. Неважным делалось то, над чем она смеется, важно — как. И ее полные влажные припухшие губы, растянутые в улыбке, и белоснежные зубки, и розовый язычок, гуляющий между ними, — сводили его с ума. Ах, он был влюблен в нее безмерно, без всякой надежды на взаимность. Он готов был умереть ради

нее, за нее, во имя нее. Мысль об этом вызывала сладостную истому, дремотную, тягучую, обычно с этим он засыпал.

И видел во сне Басену, только ее, никогда Ривушку. И любил ее почти по-взрослому, переживая то, что еще никогда не происходило с ним наяву. Рассказать об этом он не отваживался никому — ни Ривушке, ни Басене, ни Бамаре, ни маме Хасе тем более. Тетя Иза все понимала, он видел это по ее взгляду, внимательному и чуточку насмешливому.

— Не переживай так, сынок, ничего страшного, — сказала она, застав его как-то в глубине старого сада под дикой грушей в страшном смятении, со слезами на глазах. — Просто ты взрослеешь, готовишься стать мужчиной, а девочки — твои сестры, это не любовь.

— А Авраам и Сара? — попытался он возразить по-взрослому, хотя ничего не знал и мало что понимал.

— Ах, когда это было, — отмахнулась тетя Иза. — Не повторяй ни за кем глупости. Все придет в свой час, сынок. Увидишь и вспомнишь мои слова.

Позже он часто вспоминал ее. А тогда, благодарный, ткнулся в нее мокрым лицом, она прижала к себе его голову, он затих на время, утопая в мягком теплом ее теле, источающем сквозь платье и фартук тонкий сладковатый незнакомый запах, сделалось томно, дремотно, он подумал, что тетя Иза во всем права — ни при чем тут Ривушка, и Басена ни при чем. Кажется, он тогда заснул, успокоенный.

Точку в этой истории поставила смерть Басены. Детское наваждение кончилось.

Ни мама Хася, ни Фишель не хоронили Басену, он не мог видеть мертвых детей, и мама осталась с ним. В этот день Додик потерял не только Басену, но и Ривушку, навсегда вычеркнул ее из своей жизни. Взросление в кругу семьи было нелегким.

И все же к своим он относился иначе, снисходительнее, что ли.

Да, конечно, они были разные, порой невыносимые. На свой характер, крутой, нетерпимый, Додик бы ни с кем не общался, если бы не Любана. Она к каждому нашла ключик, жалела, помогала, чем могла, и слушала, слушала, давая душу облегчить.

— Все же свои, родные по крови, — говорила она, укоряя его за холодность, бескомпромиссность и безучастность.

— Конечно, конечно, родные по крови, — вторил он, пристыженный именно этими ее словами: не ей ведь, а ему по крови родные.

И он старался, как мог, перебороть свой эгоизм и принимать посильное участие в жизни родни, впрочем, удавалось это ему без особого успеха.

А к остальным евреям за забором Додик приглядывался с дотошным любопытством исследователя и одновременно с неприязнью, которую с трудом мог объяснить себе самому. А объяснение было проще простого — он не хотел быть похожим на них, не хотел, чтобы его с ними идентифицировали. С их картавостью, суетливостью и настороженностью, с их неизменным традиционным укладом жизни, с шумными обильными застольями, с их идишем вперемешку с украинским и русским, не язык, а суп-солянка с неизменными добавками всего, что оказалось под рукой.

И главное, самое главное — с их извечной обреченностью на гонения, скитания, истребление, с затаенной в глубине их глаз неизбывной печалью, даже когда они веселятся, с отчаянной удаляю, всегда — как в последний раз. Этот черный омут печали и скорби неудержимо манил его и отторгал одновременно, хотелось утонуть в этой непроницаемой черноте, чтобы навсегда избавиться от затаившегося внутри страха, изначального, от рождения или задолго до того.

"Смесь армяшки с гуталином" — ну что тут особенного? А "жид, жид, жид по веревочке бежит..."? Обычные детские глупости. Тогда откуда безотчетный страх и отделенность, отверженность, пробудившие в нем бессознательное поначалу желание оторваться от них, чтобы не быть вечно преследуемым?

Они, конечно, выжили, вот они здесь, рядом, только оглянись. И этот неоспоримый факт порождал в его душе непрошенную гордость за них. Он топил ее в привычном неприятии и отстраненности. Но тщетно.

Со временем все изменилось, он и не заметил, когда началась эта внутренняя перестройка. Собственно, никакой перестройки не было, просто все стало на свои места. Ему словно сделали операцию по пересадке всех жизненно важных органов и, пройдя все реабилитационные периоды, все рецидивы и осложнения, он будто родился заново. Лучше поздно, как говорится, чем никогда.

Поэтому когда Любана сказала: "Надо ехать!" — он не почувствовал никакого внутреннего сопротивления, никакого противоречия — покинуть родной город навсегда, смешавшись с толпой евреев, извечных странников.

Долгие годы он заглушал голос, который не давал ему покоя ни днем, ни ночью, преследовал повсюду, отравлял каждую минуту жизни. Это был внутренний голос, его никто не мог услышать, даже он сам, не голос даже,

а некая живая сущность, плывущая по жилам, как по протокам реки, заполняя все самые мелкие ответвления. Она то гулко пульсировала в нем, вызывая тахикардию и необъяснимую тревогу, не имеющую ничего общего с текущим моментом повседневности; то билась, как птица с обломанным крылом, и он нервничал, раздражался, куда-то рвался, совершал необдуманные поступки, ночами бродил неуверенной походкой по улицам города, как лунатик по краю крыши, будто искал то, без чего завтрашний день может не настать; то ровным тягучим плачем едва слышно напоминала о чем-то давнем, не с ним происшедшем, жизненно важном, о чем он не имел права забыть. Короче сказать — этот голос не давал ему ни на миг забыть о том, что он еврей.

Ни на миг. Как он ни старался.

Его задевало все, что о них говорили, — с официальных трибун или с подножки трамвая, на Привозе или в фойе кинозала. Ему хотелось набить морду обидчику и одновременно ударить оскорбленного за то, что позволяет так с собой обращаться. Он будто дрался на ринге с самим собой и едва успевал уворачиваться и наносить удары.

Потому и не отходил далеко от забора, не бежал прочь, сломя голову. Попробовал поначалу, но повсюду наткнулся на этот забор, много шишек набил. И остановился — вдруг резко расхотелось бегать. И тут же столкнулся со взглядом оттуда, с той стороны.

Знакомый взгляд печальных, настороженных, встревоженных глаз, они плыли за ним повсюду, как два воздушных шарика на невидимых нитях, ни на миг не оставляя его без присмотра. Это были глаза Бамары, Басены, матери, Фишеля, его убитых детей, всех прапрапрадедов и прапрапрабабок, прародителей Авраама и Сары, царя Давида, и еще множество глаз, вместивших всю муку, боль, страдание, надежду, достоинство и непоколебимую веру. Он отвернулся в последней попытке уйти, но не смог, потому что это были и его глаза.

Вот тогда он, Дод Перль, всю жизнь простоявший по другую сторону забора, с облегчением шагнул внутрь.

Наконец, закончились его метания длиною в долгую жизнь.

Теперь он отпустил бороду и хотел, чтобы его называли Давид, на Дод, Додик и Рид не откликался, старые одесские приятели не на шутку обижались, крутили пальцем у виска — мол, не в себе совсем старик, мишигене.

А вот и нет — не сумасшедший вовсе, совсем даже наоборот — нормальный, как и полагается в его возрасте, вдумчивый, неспешный, немно-

гословный, устремивший взор куда-то даже не внутрь себя, а как бы сквозь, куда-то дальше, глубже, где на самом дне колодца вечности лежит то, ради чего он пришел в этот мир. Разгадка, как ему казалось, приближалась, как неизбежно приближалась развязка — исход из этой жизни. Его единоличный исход.

Он много читал, знал о царе Давиде почти все... Иногда во сне псалмы на мотив, который являлся ему ночами, и тогда ему казалось, что он уже почти постиг смысл своей жизни. Пробуждение было тягостным — он что-то искал, прислушивался, ни с кем не разговаривал, даже с Любанией. Ее встревоженный взгляд нагонял на него тоску, а она во всем винила себя — не надо было тащить его в Америку. Умереть можно было дома, даже лучше — дома.

Почему-то Любания думала, что Додик скоро умрет, носила в себе это предчувствие, прятала подальше от себя самой, но время от времени чувствовала в желудке жжение, боль и какое-то неприятное тяжелое перекачивание, будто камень в себе носила, и он все рос, рос. А она все молила Бога: "Прости ему все его прегрешения, и он будет спасен, отвори от него все беды, болезни, страдания, и он будет жить долго и счастливо, вознося молитвы Тебе и благодарение". Все слова сама придумала и все за него просила, за Додика.

Пока не поставили ей диагноз, как приговор, который пересмотру и обжалованию не подлежит. Любания сперва даже не испугалась, только удивилась, потом долго не могла поверить, смириться, но камень давил так тяжело и ворочался непрерывно, как ребенок, готовый к рождению. Наверное, так, не послал ей Господь эту радость, не знает она этого и не узнает никогда, а свою судьбу — не сбросить, не избыть. Видно, так предопределено. И она должна с этим совладать.

И постараться подготовить Додика, настроить его на жизнь, внушить, что она всегда будет рядом, всегда, что бы с ним ни происходило. Но как внушить закоренелому советскому атеисту, хоть и бывшему бунтарю и стилиаге то, во что он категорически не верил. Так думала бедная Любания, не подозревая даже, какие перемены произошли с ее Додиком, с ее мальчиком, себялюбцем и баловнем. Внешне — да, заметила, конечно, кто как не она угадывала всегда его настроение, все повороты и перепады. А вот поди ж ты — главное пропустила.

— Не зови меня Додик, прошу тебя, — настойчиво повторял он последнее время, просительно заглядывая ей в глаза. — Пожалуйста, Любания.

Так бывало, когда о чем-то очень важном просил, редко случалось, она обычно сама все угадывала. А тут такой прокол случился.

Посмеялась даже над ним:

— Может, мне тебя не просто Давидом, а еще и по батюшке звать, и на вы. А что — самое время, всего-то полвека вместе прожили. В самый раз на вы перейти.

И засмеялась, и руку протянула, чтоб поерошить непослушные волосы, Додик любил, когда она это делала. А он резко дернулся в сторону, качнулся, чуть не упал. И с горьким укором сказал:

— Ничего-то ты, Любания, не поняла, — помолчал и добавил сокрушенно: — Вот такая у нас с тобой оказия вышла.

И больше они почти не разговаривали. Так, по бытовым мелочам, о погоде в Нью-Йорке и в Одессе, о ценах в магазинах, о свадьбах, рождениях и смертях среди родных и знакомых здесь и там. Да и говорила больше Любания обо всем, кроме своей болезни. Додик чаще молчал, не вступал в спор с ней по любому поводу, как бывало раньше, а она хоть и делала вид, что сердится, даже обижалась почти всерьез — на самом деле любила эти живые беседы, временами похожие на ссоры, но лишь похожие. Без них было скучно, она готова была часами слушать Додика, это не мешало никакому занятию, даже засыпала она под его голос лучше, чем со снотворным.

Вот такая вышла оказия.

Когда она лежала в больнице, мучительно доживая последние дни, Додик всегда был рядом, держал ее руку в своих ладонях, перебирал тонкие ломкие безжизненные пальцы и молчал. Она понимала — сказать ему нечего, ни утешить, ни обнадежить, ни помечтать, разве что вспомнить, как все было, всякого, разного накопилось за пятьдесят лет супружеской жизни. Если день за днем вспоминать, может, жизнь возродится, хоть ненадолго.

В полусонном бреду ей мерещились одесские запахи, голоса, озорные, крикливые, родные, мелькали лица, лица, лица, как маски, и кружились тени, тени, тени, хоровод теней... Они окликали ее через десятилетия и расстояния, с другого берега другого моря, она то путалась в лицах, то узнавала, то не могла вспомнить, кто склонился над ней, чьи слезы каплют на лицо, чьи руки бережно перестилают постель, гладят ее тело, отгоняют боль и страх, родные руки, теплые, с мягкими подушечками пальцев, с коротко стриженными розовыми ногтями и тремя маленькими родинками-пуговками на правой руке с тыльной стороны ладони, как раз посередине, между средним и безымянным пальцами...

Господи, Боже мой — мама, мамочка, родная, как могла она не узнать! Видно, совсем плоха. Она повернула лицо к Додику, хотела поделиться

радостью — к ней только что приходила мама... Но голоса не было, она попробовала мимикой и жестами, он не понял ее.

Они отдалялись друг от друга, их разводили по разные стороны от барьера, к которому она подошла почти вплотную: ее толкали в спину, подгоняя, — вперед, вперед, а его — руками в грудь, подальше вглубь, подальше — в жизнь.

И это правильно, она так хотела. Чтобы он жил. Пусть без нее, конечно, обидно, что без нее, но кто-то же должен быть первым, если нельзя вместе, взявшись за руки, сорваться с утеса в бездну в затыжном прыжке без парашютов и подстраховки — смертельный номер в чистом виде, без всяких уловок, без обмана.

Если вместе нельзя, значит, — она должна уйти первая.

Так первая ушла мама, доиграв свою роль до конца.

Лежа в онкоклинике перед операцией, ругала почему зря своего мужа Петюню, большого красивого мужчину, без ума влюбленного в нее, ругала за все — за то, что потратил невесть на что месячную зарплату, которую оставила ему на время нахождения в больнице, за то, что плачет всякий раз, как только заходит в палату, и шмыгает носом, как невоспитанный школяр младшеклассник, за то, что замуж за него пошла вопреки воле матушки, за то, что каждый раз приносит марокканские апельсины с косточками, а она их не ест, просит хурму королек-шоколад, а он не знает, что это. За все-все, в общем, вдохновенно ругала, может быть, самую малость переигрывая.

А после операции, отлежав в реанимации положенные три дня, стала готовиться к переходу в отделение, в общую палату, где у нее своя плацкарта у окна, как в вагоне поезда дальнего следования. Надела розовый легкомысленный нейлоновый халатик, с разрезами по бокам, откуда вытарчивали ее желтые сморщенные, тонкие, как макаронины, ножки, нацепила на реденькие сизо-рыжие волосики то ли бантик, то ли фантик, и церемонно взяв под руку медсестричку Наташеньку, вышла в коридор, стреляя по сторонам глазами. Навстречу шаркал мужичок с ноготок, лысый, тощий, как скелет, с огромным пузом, каждый шаг сопровождался то всхлипом, то всхрапом с присвистом — полный кошмар. Умереть от слез.

Отвернувшись, она похлопала своей невесомой ладошкой Наташеньку по руке и сказала, как бы подытоживая долгие свои сомнения:

— Ну и что мне теперь, менять моего раскрасавца Петюнечку на це шило? Да никогда в жизни.

А жизни осталось всего два месяца, мучительной, тягостной.



Мучительными и тягостными были и последние два месяца жизни Любани. Она шла след в след за мамой. Только роль свою забыла, играла кое-как.

Лишь в самый последний день, когда к ней вдруг вернулся голос, так бывает перед смертью, только она об этом не подумала, обрадовалась чему-то и тихо позвала:

— Додик, Додик.

Он не отозвался, хоть и сидел вплотную к ее постели, то ли задремал, то ли задумался о чем-то своем, теперь это часто бывает. Она бы отдала несколько дней жизни, хоть еще до конца не рассталась с ней, измученная, покалеченная, что-то еще удерживало — отдала бы, чтоб узнать, о чем он думает вдали от нее? О чем?

А Давид думал о ней. Хотя "думал" — это не совсем точно. Он всем существом своим ощущал ее уход, она покидала его, ему было больно, будто с него живого сдирали кожу, каждый нерв воспаленно вибрировал, сопротивляясь этой боли. А она все нарастала и нарастала, поглощая его целиком. Он ничего не мог противопоставить ей, да и что он такое — песчинка, молекула, которой играет какая-то неведомая сила. И Любаня — такая же молекула, злой жребий выбрал ее.

"Почему? За что?" — спросил он вчера рабби в синагоге на Оушн-авеню, куда забрел от полного отчаяния. Тот посмотрел на него с сожалением, будто Давид не вполне в себе, что задает такие наивные вопросы, а узнав, что Любаня гойка, чуть не вытолкнул его из синагоги — иди, иди, Давид, нечего тебе здесь делать, ступай.

На улице он чуть не сшиб с ног бывшего соседа-одессита Соломона Глухмана, который и сейчас жил неподалеку, ходил в лапсердаке, шляпе, с пейсами.

— Ну, как Любаня? — спросил участливо.

Давид не ответил.

— Пойдем в синагогу, помолимся вместе.

— Нет. Я там уже был.

Соломон понимающе покивал головой.

— Ладно, ладно, я сам буду молиться, Господь милосерден.

— Нет! — выкрикнул Давид и резко выбросил вперед руки, будто защищаясь от чего-то. — Нет, — повторил твердо. — Она умирает. В чем же Его милосердие? Объясни мне, — попросил, — пожалуйста, объясни.

Черные глаза Соломона Глухмана наполнились слезами сочувствия. Ничего не ответил он Давиду.

— Я буду молиться за Любаню, — повторил тихо и зашаркал прочь, ссутулив спину и низко опустив голову, будто в чем-то виноват перед Давидом и перед Любаней.

Давид шел в больницу, не замечая ничего вокруг, будто по пустыне — только песок и солнце, даже горизонта не видно за желтой песчаной дымкой. Он шел и шел, увязая в песке, в какую-то даль, неся туда свою последнюю надежду — может быть, там все не так безжалостно и необратимо.

— Давид! Давид! — окликнула его Любаня, и он возликовал, услышав ее голос.

Она заговорила — значит, будет жить. Ах, он тоже забыл, что такое случается перед смертью, но он не хотел, чтобы Любаня умирала, он не мог с этим смириться.

— Давид, родной мой, очнись, я умираю... Давид, я ухожу, — повторила тихо, уже издалека.

Давид — сказала на прощание Любаня, будто благословила его. Как Бамара когда-то в детстве...

Давид очнулся, в палате было светло и тихо, кровать, на которой лежала Любаня, была аккуратно застелена белой простыней. Он сидел на стуле, сложив руки на коленях, сцепив в замок побелевшие пальцы и, слегка раскачиваясь взад-вперед, что-то напевал себе под нос. Седые волосы дыбом торчали вокруг головы, взгляд был пустой, блуждающий — точь-вточь безумный король Лир из трагической пьесы Шекспира. Но рядом не было Любани, оплакать его безумие было некому.

После смерти Любани Давид не хотел жить — ни здесь в Америке, на Оушн угол Кей, ни в Одессе на Чичерина угол Канатной. Нигде. И он не знал, что будет делать.

На седьмой день ночью он проснулся внезапно, будто кто-то позвал его. Не голосом позвал, а как-то иначе. Он долго лежал на спине, не мигая, глядел вверх, сквозь потолок в крошечную тьму космоса, и прислушивался к чему-то. Сначала тьму нарушали отблески света за окном, мечущиеся по потолку светящиеся тени от проезжающих мимо машин, мигающий ответ фонаря на перекрестке, потом все куда-то исчезло, и его широко раскрытые глаза окунулись в плотную однородную черноту, будто ослеп внезапно, заломило в висках, веки дрогнули и тяжело опустились. Ему вдруг сделалось страшно, дрожь пробежала по телу от голых пяток до макушки, он почувствовал, как шевелятся волосы, постукивают зубы и все

внутри переворачивается от цепящего ужаса. Он лежал, раздавленный страхом, презрением к своей слабости, оглушенный, расплющенный. Не было сил ни двигаться, ни дышать, ни думать о чем-то.

И вдруг зазвучала музыка, едва различимая, откуда-то издалека, она рождалась в нем и вливалась в него одновременно, и он узнал ее. Это была его музыка, он всю жизнь носил ее в себе, беззвучную и прекрасную. И вот, наконец, услышал. И запел. Слова и мелодия слились воедино, душа до краев переполнилась счастьем, какого ни разу в жизни не довелось пережить ему. Ни разу. Никогда.

Пальцы его перебирали струны, голос звучал уверенно, вдохновенно, взгляд устремился за горизонт, волосы развевались на ветру, а босые ноги увязали в мокром прибрежном песке...

Океан штормил, никто не отваживался бороться с волнами. Только он, Давид Шмулиевич Мутерперель, бывший стилинга и бабник, а после — добропорядочный семьянин, верный муж и друг своей жены Любани до самого ее гробового порога на чужбине, в далеком от родной Одессы нью-йоркском Бруклине, на углу Оушн-авеню и Кей, только он шагнул в рухнувшую на берег волну, пережив ни с чем не сравнимый восторг ужаса, как когда-то в раннем детстве, когда волна понесла его неудержимо — подкинула в небо, а оттуда низвергла в темные глубины, в толщу пучины морской.

Сделалось легко, спокойно — все, достиг предела. Прибыл, куда стремился, а что это — знать не положено. Плыви себе! Лети! — нет больше никаких проблем и заковыристых вопросов. Все решено, что было отпущено.

Нет неисполнимых желаний, несбывшихся надежд, никуда не надо ехать и возвращаться никуда не надо.

Сколько Давид проспал — не помнит. Проснулся, как очнулся от летаргии, долго не мог понять, где он, что с ним, будто из давно прошедшего или из далекого будущего вернулся в день сегодняшней, за окном — безоблачно, на душе — светло и покойно, мысли — ясные.

"Господь со мной, не утрашусь, Господь со мной". То ли сам произнес беззвучно, про себя, то ли кто-то подсказал ему, и будто разлетелась на мелкие осколки, песком осыпалась тяжелая каменная глыба, под которой лежал раздавленный, — ни продохнуть, ни кончиками пальцев рук-ног пошевеливать, ни веки приподнять.

Легко встал с постели, впервые надел черный пиджак и шляпу, подаренные Любаней на последний его день рождения за полгода до ее смерти. Мимолетно взглянув в зеркало, с удивлением отметил, что волосы не

торчат дыбом, улеглись легкими волнами, и борода не топорщится, как развахренная половая щетка, и глаза не горят лихорадочным блеском. Все в нем успокоилось — и внешне, и внутри. И на улицу выйти не страшно.

"Шалом, Давид!" — окликали его с противоположного конца Брайтон-Бич, едва он появлялся на берегу с неизменным томиком псалмов Давида под мышкой. Вместе со шляпой рост его составлял один метр девяносто один сантиметр, как когда-то в прежней жизни, когда он был заметной фигурой в родном городе Одесса, где его знали все.

Сейчас его тоже все знают. Многие собираются здесь специально для того, чтобы послушать, как он поет псалмы Давида на музыку, которая рождается тут же, всякий раз заново. Дивная музыка, божественная. Давид поет вдохновенно, легкий атлантический бриз треплет его волосы и бороду, глаза устремляются в далекую даль, казавшуюся ранее недостижимой.

— Что там, Давид? Что? — иногда спрашивают его со страхом и надеждой, как когда-то давным-давно он сам спрашивал Бамару.

Он вглядывался до боли в глазах, потом зажмурился, прикрывал ладонями веки, ища в темноте отпечаток того, чего взор не достиг.

— Не знаю, отсюда не видно, — отвечал честно. — Пелена все застит, поближе подойду, должно проясниться.

Так говорила ему Бамара, слово в слово. Он и возраста ее уже почти достиг, и все страхи оставили его, кроме одного — увидит ли он там Любанию. Только это волновало его, все остальное выстроилось.

Она часто приходила к нему по ночам, он не успевал разглядеть ее, изменилась ли она или все такая же, какой была на земле, только слышал ее голос: "Мы всегда будем вместе, Додик, не переживай, родной, — всегда, где бы мы ни были..."

"Додик", — улыбался в усы Давид. — Ну, пускай "Додик", пускай.

Главное — чтобы они всегда были вместе. Здесь он знает, как, здесь он не отпускает ее от себя ни днем, ни ночью — засыпая, чувствует ее теплую ладонь в своей руке, и просыпаясь, и тенью на песке лежит рядом с ним она, и нежным порывом ветра ласкает лицо, он то видит ее спину со сведенными, как у маленькой девочки, лопатками и угловатыми плечиками, то изящный поворот головы, то легкие, как крылья чайки, руки, взметнувшиеся над волной. Здесь она всегда рядом.

Главное — чтобы там никакая сила не разлучила их. Главное — там, по другую сторону надежды, куда отсюда никому заглянуть не удастся.

Москва